

УДК 323  
ББК 66.3  
М19

*Публикация подготовлена и издание  
осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного  
фонда (РГНФ), проект № 11-03-00202а*

Рецензенты: д-р истор. наук А. И. Миллер,  
д-р полит. наук И. С. Семененко

**Малинова О. Ю.**

М19 Актуальное прошлое: Символическая политика  
властвующей элиты и дилеммы российской иден-  
тичности / О. Ю. Малинова. — М. : Политическая  
энциклопедия, 2015. — 207 с. — (Россия. В поисках  
себя...).

ISBN 978-5-8243-1952-1

Книга посвящена изучению одного из аспектов политики иден-  
тичности в постсоветской России — эволюции подходов властвующей  
элиты к использованию национального прошлого в меняющемся поли-  
тическом и идеологическом контексте. На основе анализа нормативных  
актов РФ, публичных выступлений президентов РФ и других политиков,  
занимавших ключевые позиции в федеральной исполнительной и за-  
конодательной власти, а также материалов СМИ прослеживаются эта-  
пы формирования «официального» исторического нарратива. Особое  
внимание уделяется реинтерпретации двух центральных событий со-  
ветского периода: Октябрьской революции 1917 г. и победы в Великой  
Отечественной войне, — а также изменению репертуара используемого в  
политических целях прошлого.

Книга предназначена для специалистов-обществоведов, а также для  
всех, кто интересуется проблемами политики и истории в современной  
России.

УДК 323  
ББК 66.3

ISBN 978-5-8243-1952-1

© Малинова О. Ю., 2015  
© Политическая энциклопедия,  
2015

## Оглавление

Современные практики политического использования прошлого как предмет исследования . . . . .	5
Прошлое как ресурс и объект современной политики . . . . .	12
Проблема понятийного аппарата. . . . .	16
Политическое использование прошлого как составляющая символической политики. . . . .	22
1. Переосмысление символа Октябрьской революции в постсоветской России . . . . .	32
«Главное событие XX века» в идеологических битвах начала 1990-х гг. . . . .	36
Несостоявшееся «согласие и примирение» . . . . .	56
Память о революции и репрезентация политических изменений. . . . .	62
«Нормализация» советского прошлого: технологии символической политики 2000-х гг. . . . .	68
«Октябрьский переворот» или «Великая российская революция»? . . . . .	84
2. Политическое использование символа Великой Отечественной войны. . . . .	88
1990-е гг.: в поисках новых подходов к политическому использованию памяти о войне . . . . .	91
2000-е гг.: память о Великой Отечественной войне как «универсальный» символический ресурс . . . . .	100
«Фальсификации истории» и другие вызовы официальной версии памяти о Великой Победе . . . . .	115

3. Репертуар политически актуального прошлого в риторике президентов РФ (1991–2014) . . . . .	128
Использование национального прошлого для легитимации действующей власти (анализ посланий президентов РФ Федеральному Собранию РФ, 1994–2012 гг.) . . . . .	130
Тематический репертуар памятных речей президентов РФ (2000–2014 гг.). . . . .	156
Заклучение. Эволюция символической политики и дилеммы российской идентичности . . . . .	175
Литература и источники. . . . .	185

### **Современные практики политического использования прошлого как предмет исследования**

«Общепринятые» представления о прошлом являются одной из главных опор идентичности современных политических сообществ. То, что иногда называют «публичной историей» в отличие от «формальной» или «профессиональной» – репрезентации и интерпретации прошлого, адресованные широкой аудитории неспециалистов, – оказывает существенное влияние на формирование представлений о нас и мобилизацию групповой солидарности. Прошлое служит «строительным материалом» для конструирования разных типов социальных идентичностей, однако особое значение оно имеет для воображения наций. Большинство исследователей национализма согласятся с утверждением Д. Белла: «Чтобы сформировать... чувство единства с другими людьми, принадлежащими к той же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествлять себя с разворачивающимся во времени нарративом», в котором нации «отводится центральная и позитивная роль» [Bell, 2003, p. 69]. Не случайно в рамках сложившейся (и трудно поддающейся изменению) традиции именно нации/государства стали главными объектами историографического описания.

После распада СССР все бывшие союзные республики столкнулись с необходимостью формирования новых национально-государственных идентичностей на основе наличных символических ресурсов. В случае России задача осложнялась множеством факторов как структурного, так и агентивного (субъектного) характера. С одной стороны, приходилось принимать в расчет ограничения, заданные контекстом: факт трансформации внутренних административных границ в государственные; плоды советской

деленные усилия для его развития, прежде всего с целью конкретизации «тысячелетней истории» России. Однако этим усилиям до недавнего времени недоставало системности, которая особенно важна, учитывая что при составлении рабочих графиков президентов приходится принимать в расчет множество факторов. Анализ поводов для «юбилейных» выступлений первых лиц заставляет предположить, что на их выбор заметное влияние оказывают соперничающие группы интересов. При этом ведомства, отвечающие за образование, науку и культуру, явно уступают по своим лоббистским возможностям силовым структурам, государственным корпорациям и отдельным регионам.

Вместе с тем в результате смены курса символической политики в начале 2000-х гг. оказались частично демонтированы практики коммеморации событий новейшей российской истории, складывавшиеся в предыдущее десятилетие. Представляется, что это не слишком дальновидно с точки зрения формирования идентичности макрополитического сообщества, стоящего за современным Российским государством, которое во многих отношениях является *новым*: институционализируемая в виде праздников, традиций и ритуалов память о недавнем прошлом – это символическая инвестиция, с которой нужно продолжать работать в расчете на «отдачу» в более далекой перспективе. В конце концов, новейшая история России – это тоже часть ее «тысячелетнего прошлого».

## **Заключение . Эволюция символической политики и дилеммы российской идентичности**

Практика политического использования прошлого властвующей элитой в полной мере отражает дилеммы, с которыми сопряжено конструирование идентичности общества, стоящего за современным Российским государством. Демонтаж советского режима облегчался распадом поддерживавшего его идеологического «метанарратива», который произошел еще в конце 1980-х гг. [Gill, 2013]. Однако для мобилизации поддержки трудных реформ требовалось найти какие-то «замещающие» конструкции. В отсутствие готовой «теории посткоммунистической трансформации» наиболее очевидным способом построения такого рода конструкций стала переоценка опыта «Запада» и собственного прошлого.

Отвергнув коммунистическую идеологию и провозгласив в качестве официальной цели развитие рынка и демократии, Россия стала идентифицировать себя с ценностями, которые в логике «холодной» войны приписывались «Западу». Казалось, это открывает перспективу для пересмотра прежних моделей идентификации в системе координат Восток – Запад. Однако трудности с продвижением реформ и недостаток признания со стороны Западного Другого сделали новые ценностные основания коллективной идентичности постоянным источником противоречий. С одной стороны, очевидная неспособность отвечать «западным» стандартам побуждает российскую элиту прибегать к «почвеннической» стратегии, предполагающей оценку по «нашим собственным» критериям. С другой стороны, в новой конфигурации мировой политической системы сохранение хотя бы формальной приверженности ценностям свободы, демокра-

тии и рынка является условием притязаний на желаемый международный статус. В силу этого российская политика идентичности колеблется между полюсами «западничества» и «почвенничества», оппозицию которых пока не удается преодолеть. Во многом формальный характер декларируемых ценностей является главным препятствием для конструирования нового исторического нарратива, способного связать прошлое с настоящим и будущим.

В не менее значительной степени поиски ценностных оснований постсоветской идентичности опирались на переосмысление отечественной истории. Однако и здесь действия акторов символической политики наталкивались на очевидные ограничения. С одной стороны, критика советского прошлого была главным инструментом легитимации реформ, начатых новым режимом. С другой стороны, общество, вступившее в период трудной и болезненной трансформации, отчаянно нуждалось в позитивных символах, способных служить опорой для образов желаемого будущего. Стоит отметить, что «критический» нарратив не был изобретением ельцинской властвующей элиты – он достался ей в наследство от перестройки. В большинстве стран, прошедших через подобные системные трансформации, «проработка прошлого» откладывалась «на потом». В России начала 1990-х гг. эти задачи пришлось совмещать, и опыт оказался неудачным. Вместе с тем построение нового нарратива коллективного прошлого, способного «заменить» распавшийся советский, невозможно без критической «проработки» и моральной оценки трагических страниц истории.

Не меньшие трудности возникают с выбором «легал», по которым должна строиться новая макрополитическая идентичность. В силу ряда причин России сложнее, нежели другим постсоветским государствам, сделать выбор в пользу доминирующей в современном мире модели нации. Это обусловлено не только советским способом реше-

ния «национального вопроса», вследствие которого любые шаги по пути нациестроительства рассматриваются сквозь призму конкуренции за символические ресурсы, связанные со статусом «нации». Проблема еще и в конфигурации «материала», из которого строится новая российская идентичность, в частности в особенностях закрепления прошлого в историографии и «инфраструктуре» коллективной памяти. Как верно подметил В. Морозов, одной из ключевых проблем конструирования новой российской идентичности по модели нации стало отсутствие в начале 1990-х гг. «альтернативного имперскому исторического нарратива, который мог бы послужить основой для самоидентификации России как нового национального государства» [Морозов, 2009, с. 580]. Кроме того, империи оставляют в «наследие» политические и культурные ресурсы, делающие возможным воображение макрополитического сообщества в наднациональной/цивилизационной системе координат [Малинова, 2013, с. 349–369]. И хотя исторически строительство многих современных наций имело место именно в «ядрах» империй [Миллер, 2008, с. 26–35], трудно отрицать, что «выкраивание» национального нарратива из «ткани» имперского прошлого – это задача непростая как в интеллектуальном, так и в политическом отношении. Подобная переоценка прошлого чревата ослаблением не только «опор» коллективной идентичности, но и международного статуса. Вместе с тем сохранение «имперской» парадигмы тоже сопряжено с негативными последствиями, поскольку создает почву для фрустрации и ностальгии по утраченному «величию».

Эти и другие дилеммы определяли рамки возможного для постсоветской политики идентичности. Векторы последней не раз менялись то более, то менее существенно. Обобщая результаты этого и других исследований, можно выделить четыре этапа эволюции символической политики, проводившейся от имени государства.

1990-е гг. прошли под знаком острой конфронтации между сторонниками и противниками Б. Н. Ельцина. *На начальном этапе* символическая политика исполнительной власти развивала *критический нарратив*, продолжавший переоценку отечественной истории, начатую в годы перестройки. Риторика президента и его соратников была всецело подчинена оправданию курса на радикальную трансформацию «тоталитарного» порядка (формулировки целей имели отчетливые коннотации с идеологемами холодной войны), что влекло за собой критику советского опыта. Отношение к дореволюционному наследию было более сложным. С одной стороны, начатые преобразования интерпретировались как «восстановление связи времен», разорванной в годы советской власти. С другой стороны, корни многих современных проблем усматривались в дореволюционной истории: в высказываниях самого Ельцина и представителей его «команды» можно обнаружить немало критических высказываний в адрес наследия прошлого, затрудняющего движение к желанным целям. «Восстановление связи времен» требовало кропотливой работы по переосмыслению интерпретации отечественной истории, покоившейся на идеологических схемах, доставшихся в наследство от советского времени (и, в свою очередь, впитавших многое из дореволюционного нарратива героического «революционно-освободительного движения»). Здесь трудно было ожидать быстрых результатов, однако важно было поставить соответствующие цели. К сожалению, понимание важности этой задачи пришло лишь в начале 2010-х гг. А в начале 1990-х символическая политика властвующей элиты была всецело подчинена решению текущих проблем. Казалось, что главное – сделать постсоветский переход необратимым, остальное «само собой устроится». Российская идентичность конструировалась на основе новых «демократических» ценностей и по контрасту с прошлыми эпохами. В этой связи было бы логич-

но формировать «инфраструктуру» памяти о ключевых событиях новейшей истории; однако в условиях жесткого противостояния с оппонентами в законодательной власти исполнительная власть не предпринимала систематических усилий в этом направлении. Вместе с тем, пытаясь адаптировать для использования в новом контексте отдельные элементы советского наследия (прежде всего – память о Великой Отечественной войне), Ельцин и его соратники были вынуждены конкурировать с «народно-патриотической оппозицией», использовавшей более удобную стратегию частичной трансформации прежнего нарратива.

О второй половине 1990-х гг. можно говорить как о самостоятельном этапе, поскольку в этот период имела место частичная корректировка официальной символической политики: на смену принципиальному отрицанию «тоталитарного прошлого» пришла установка на «примирение и согласие». Она отчетливо проявилась после выборов 1996 г. (приглашение к разработке «национальной идеи», переименование 7 ноября в День примирения и согласия, история с перезахоронением останков членов царской семьи и др.), однако первые признаки нового подхода обозначились уже во время подготовки к празднованию 50-летия Победы. Одним из его результатов стало закрепление постсоветского ритуала празднования Дня Победы (ежегодные военные парады на Красной площади, Красное Знамя Победы в качестве официального символа и др.). Впрочем, политика «примирения» скорее носила декларативный характер: главной целью властвующей элиты ельцинского призыва оставалась легитимация непопулярных решений, принимавшихся под лозунгом «борьбы с тоталитарным режимом», и это обстоятельство не позволяло уйти от практики использования прошлого по принципу контраста с настоящим. Вместе с тем более отдаленное прошлое в политической практике 1990-х гг. использовалось мало, что можно объяснить, с одной стороны, отсутствием «го-

тового» нарратива, который позволял бы связать наследие доимперского и имперского периода с современными задачами конструирования макрополитической идентичности, а с другой стороны – недостатком ясности в отношении оснований, границ и ценностно-смыслового содержания последней. Во всяком случае, заказ на разработку нарратива, пригодного в новом контексте, сформулирован не был. Не разделяя в полной мере интерпретацию коллективного прошлого, предложенную в конце 1980-х – начале 1990-х гг. «демократами», власть по прагматическим соображениям вынуждена была ее придерживаться, что делало артикулируемые ею идеи абсолютно неприемлемыми для «народно-патриотической оппозиции».

С приходом к власти В. В. Путина в практике политического использования прошлого произошли изменения, знаменовавшие наступление *третьего этапа* государственной символической политики. В 2000-е гг. сложился новый принцип построения официального нарратива: новая Россия была объявлена законной наследницей «тысячелетнего государства», таким образом, во главу угла ставилась *премственность*. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х гг., В. В. Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Однако инновации заключались не только в избирательной «реабилитации» советских символов. Был найден новый стержень символической политики – им стала идея великодержавности, проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России. В новом официальном дискурсе именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) стало представляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего макрополитическую идентичность.

Это было удобное технологическое решение, позволявшее избирательно использовать советское прошлое, исключая при этом из репертуара наиболее одиозные моменты (примечательно, что аналогичные изменения в отношении к советскому прошлому социологи отмечают с начала 2000-х гг. и на уровне массового сознания). Вместе с тем это было *использование прошлого в технике коллажа*: символическая политика двух первых президентских сроков В. В. Путина отличалась принципиальной эклектичностью, совмещение элементов противоположных смысловых систем не сопровождалось их содержательной реинтерпретацией, хотя объектами официальной номинации оказывались взаимоисключающие – в логиках прежних «символических битв» – идеи и символы. Это особенно очевидно в дискуссии о «суверенной демократии»: ее участники спешили заполнить контуры «удобной» в функциональном отношении схемы путем механического соединения элементов разных дискурсов. При этом они мало заботились о правдоподобности аргументов: вырванным из контекста устоявшихся нарративов символам прошлого приписывались совершенно новые смыслы [Сурков, 2006; Сурков, 2007]. Такая технология позволяла обозначить контуры модели коллективной идентичности, предлагаемой властвующей элитой, однако она не могла обеспечить формирование *связных и устойчивых* представлений о коллективном прошлом, настоящем и будущем, ибо исходно не была на это нацелена.

Символическая политика Д. А. Медведева может рассматриваться как продолжение и развитие путинской эклектики, хотя в ней наблюдались и новые тенденции, которые были связаны как с изменением внешнего контекста («войны памяти»), так и с некоторыми инновациями спичрайтеров и личностными особенностями лидера.

Подводя итоги символической политики 1991–2011 гг., можно отметить две ее характерные особенности. Во-

первых, государственным решениям, направленным на формирование «инфраструктуры» коллективной памяти, очевидно, не хватало целостной стратегии, а зачастую – элементарной последовательности. Вместе с тем символическая политика требует системности: чтобы закрепить интерпретацию в массовом сознании, требуются время, ресурсы и целенаправленная работа по разным каналам – образование, СМИ, официальная риторика, литература, кинематограф, ритуалы и т. п. Кроме того, формирование «подходящего» исторического нарратива предполагает выстраивание смысловых связей между символами прошлого; работа с ними в технике коллажа – паллиативное решение. Во-вторых, как я попыталась показать в третьей главе, следствием такого подхода является узость репертуара символов, событий, фигур прошлого, пригодных для мобилизации национальной солидарности. Если первое обстоятельство обусловлено нерешенностью множества фундаментальных вопросов и противоречивостью продвигаемой властью модели идентичности, то второе – следствие неготовности властвующей элиты работать с «трудным» прошлым, занимая определенную «позицию» в спорах, которые не прекращаются в обществе.

В 2011–2012 гг. на фоне президентской избирательной кампании, сопровождавшейся протестным движением в ряде крупных городов, наметились определенные изменения в символической политике, которые позволяют говорить о начале *следующего, четвертого, этапа*<sup>1</sup>. Его

---

<sup>1</sup> Применительно к политике памяти А. И. Миллер считает возможным начинать современный этап с 2010 г., аргументируя это переключением дискуссий с внешнеполитических «фронтов» на внутрироссийские, что было обусловлено, с одной стороны, спадом активности в спорах с Польшей, Украиной, Молдовой и прибалтийскими республиками, и с другой – стремлением разных политических игроков ис-

характерная особенность – более пристальное внимание к политике идентичности, что выразилось не только в ряде программных заявлений В. В. Путина (в том числе – в предвыборной статье про «национальный вопрос», констатации «дефицита духовных скреп» в послании 2012 г., «валдайской речи» 2013 г., неоднократных встречах с историками и музейщиками и др.), но и в отмеченном выше заметном расширении тематического репертуара «актуального» прошлого. Пожалуй, наиболее красноречивым свидетельством повышенного внимания к исторической политике стала инициированная президентом кампания по подготовке Концепции нового учебно-методического комплекса (УМК) по отечественной истории. Все это дает основание полагать, что именно в последние два-три года наметившееся еще в 2000-х гг. стремление расширить репертуар политически «пригодных» событий, иллюстрирующих «тысячелетнюю историю» России, стало приобретать признаки более систематической стратегии.

Вместе с тем и первые результаты применения такой стратегии, и используемые при этом технологии вызывают противоречивые оценки. С одной стороны, можно согласиться с выводом А. И. Миллера: власть стремится не только определять повестку дня в области политики памяти, но и контролировать общественные дискуссии о прошлом с помощью созданных по ее инициативе квази-экспертных центров – Ассоциации школьных учителей истории и обществознания (2010 г.), Российского исторического и Российского военно-исторического обществ (2012 г.). С другой стороны, по его же справедливому заключению, эти центры «не только опосредовали» политику власти, «но и (отчасти) выступали как площадки для

---

пользовать тему прошлого для «набирания очков» в условиях политической неопределенности перед президентскими выборами 2012 г. [Миллер, 2013, с. 120].

артикуляции экспертного и общественного мнения» [Миллер, 2013, с. 122–124], что, казалось бы, создает условия для взаимодействия профессиональных сообществ и власти «в режиме диалога и даже согласия» [Миллер, 2014, с. 49]. Тем не менее решения, принятые в 2014 г. на фоне украинского кризиса, – «мемориальный» закон, устанавливающий уголовную ответственность за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично» [ФЗ, 2014, № 128–ФЗ], заявление министра культуры В. Медведского о нецелесообразности принятия программы по увековечению памяти жертв политических репрессий (позднее под давлением президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека дезавуированное В. В. Путиным) и другие меры, более подробный анализ которых можно найти в статье Миллера [там же] – свидетельствуют о стремлении части властвующей элиты свернуть начатые дискуссии о «трудных моментах» истории и авторитарно навязать *апологетический нарратив* национального прошлого. Едва ли нужно говорить, что это крайне тревожная тенденция.

## Литература и источники

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Афанасьев Ю. Прошел год // Год после Августа. Горечь и выбор. М.: Литература и политика, 1992. С. 7–12.

Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 126–148.

Ачкасов В. А. «Политика памяти» как инструмент конструирования постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 4 (69). С. 106–123.

Барт Р. Мифологии / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М.: Академический Проект, 2010.

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

Бовин А. Великая революция // Известия. 1997. № 211 (25064). 5 ноября. С. 4.

Брежнев Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества. Доклад на торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР // Правда. 1977. № 307 (21642). 3 ноября. С. 2–3.

Бурдые П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 2007.

Буртин Ю. Новый строй: виды на будущее // Московские новости. 1994. № 54. 9 ноября.

Бушуев В. Не катастрофа, а спасение // Правда. 1997. № 167 (372). 6 ноября. С. 1–2.

В день памяти жертв политических репрессий Святейший Патриарх Алексий и президент России посетили Бутовский полигон // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/314768.html>